

«Поэт, не дорожи любовью народной», — явно не в лучшие минуты жизни воскликнул из своего «золотого» поэтического века Пушкин. Но он же мечтал остаться в памяти народа, быть ему «любезным». Некрасов призывает «мужика уважать». Рубцов освещал путь огонёк русской избу.

Поэты тогда и велики, когда не похожи один на другого. А народ, о котором они рано или поздно начинают размышлять, он-то какой?

2020 год. Где народ сейчас и чем занят? Отгорделился «Садовым колыцом»? Учится и живёт в Лондоне? Отдыхает в Дубаи? Спи-ваётся по оставшимся деревенькам? Да, всё так. Но ещё продолжает жить в маленьких



Вы будете удивлены...

О книге стихов Владимира Решетникова «Рубежи»

но новое поколение, которому вдруг захочется узнать, какими были их предки, чем жили, что чувствовали, то они должны будут открыть те книги «интеллектуального» Дмитрия Быкова или блестяще-оригинального Тимура Кибирова, которые, вполне возможно, будут стоять на полках ещё существующих книжных магазинов, а найти бережно хранящиеся в неказистых муниципальных библиотеках небольшие сборники, среди которых будет и эта книжечка в дерзком красном переплёте и более подходящим эпическому тому посвящением.

Знал ли Владимир Решетников, обдумывая название «Рубежи» и обложку своего восьмого по счёту сборника стихов, каким будет этот год его выхода? Да, конечно, знал — знал то, что знали и все. А потому выбрал красный цвет — цвет знамени Великой Победы, польщающего до сих пор гордо, несмотря на старания спесивых и «хистокровенных»; их поэт не стесняется называть, потому что они забыли, что по Берлину ехали наши.

Герой стихотворения «Последний патрон» (им открывается первый, главный рубеж — «Рать»), хотя и представляется «парнем советским, простым» из Рязани, но мы, догадываемся, что он лукавит, прикидываясь Иванушкой-дурачком (любимый автором рязанский поэт тоже себе такое позволял). Да и простота не так проста... Вот наш пулемётчик, вроде бы «деревня деревень»: «перекрутил», «плонхнулся», «давеча» — типичная лексика; «сплюнул — и стал воевать»... А тут вдруг за-мечает, как «на засохшую землю/ Дождь сни-зошёл проливной». Так ведь и неудивительно, раз он «видел пейзажи в музее». Кто-то будет критиковать? Упрекать в непоследовательности или стилистической неточности? Дума-ется, нет тут никакого противоречия. Не будь русский человек таким, как бы он умудрялся как «последним патроном» возвращаться до-мой! Да и не с одной войны! Об этом напоми-нает по праву ставшая героиней стихотворе-ния знаменитая «Ленточка Георгия».

Что только сейчас не услышишь в адрес народа-победителя от тех, кого этот народ спас. Но Владимир Решетников не устает в разных вариантах повторять то, в чём он убеждён: «Русский воин — милосердный!». Однако «милосердный» — не значит «трус-ливый», не значит «все прощающий». Ведь вошли те самые парни-воины «в Берлин поверженный», поверженный ими, умира-ющими и выживающими «в огневом аду».

А неспокойная совесть поэта и нас с от-ражением заставляет увидеть «фашиста, топчущего рожь», чтобы не дай Бог, мы обо всём забыли.

Сочетание несочетаемого в характере, поступках, мыслях представляется одной из особенностей образа лирического героя

Владимира Решетникова. Да и сам поэт часто усыпляет бдительность читателя. Сюжеты почти в духе пропагандистского кино («Последний патрон», «По нужде»), лёгкость мысли и слова может смениться мистическими картинками, в которых соеди-няется фантастическое и реалистическое, философское и психологическое.

Человек, родившийся десятилетия спустя после войны, сумел написать о ней так, что мороз пробегает по коже. «Деревня» — это, конечно же, и «боль в укор живущим», это и незаживающие раны, оставленные войной, заставляющие живых повторять за мёртвы-ми: «Лишь бы / На свете не было войны». И пока бродят по земле призраки сожжённых деревень, пусть в стихах, будет жима наив-ная в своей неадекватности вера рус-ского человека в справедливость, передаю-щаяся, по всей видимости, с генами.

Но не может душа поэта Владимира Ре-шетникова, как истинного русского, пребы-вать долго в печали. Ведь даже война — это ещё и радость победы. Как современному молодому человеку, «младогению», дать почувствовать, что значит настоящая ра-

Ирина КУЛЬПИНА

дость? Только собрав радость в своём серд-це и поделившись ею с людьми. Как удалось Владимиру Решетникову в малом стихот-ворении «В сердце радость собираю» пере-дать ощущение величия праздника, с одной стороны, и в то же время очень личного для каждого из нас события? Соединить в не-скольких строчках прошлое и настоящее? Удивительная картина, трагическая и ра-достная: «гудящая костыми» земля и я, бегу-щий (или бегущая), по зелёной траве жизни.

Да, пока поэт будет приходить к памятни-ку и виновато замирать «Перед этим солда-том большим», он будет напоминать нам не только о прошлом, но и о самих нас, имя которым — Человек.

А значит, в рубежах, делящих жизнь на

отрезки, будет место всему.

Другу из «Эриван», ещё помнящему за-пах пожара войны 93-го года, и другу-азер-байджанцу, умоющему светиться улыбочкой.

«Любам». Нет, не тем, которые Любы, а той, которая — любовь. Что за сборник сти-хов Владимира Решетникова без любви! Как может русский мужчина не остановит-ся взгляд хоть на секунду на «наржалыщи-це», а тем более на «неотразимой», как не посочувствует «идущей одиноко Наде».

Поэт Решетников пишет о женщине, как всегда: то нежно, то страстно, то грубовато (озорно, но не пошло), и, как всегда, — по-своему, до неожиданного: Обыденность и Правда голая «кдвоём теперь живут».

«Новии». Ей, этой «новии», чаще всего до-стаётся от поэта. Не только за то, что ходит «без носков». Но и за живучесть «вторых», изживающих «первых». За малодушие, на-кидывающее на шею верёвку. За «айфон — продолжение руки». За собаку, верность которой хозяину не оценит.

Да сколько ни найдётся критиков, не затк-нуть, пожалуй, рот «Неудобию» поэта Решетникова. Ибо какой же русский не любит крепкое слово! Причем, рассыпана она — неудобь — бывает по разным рубежам.

Нашёл место в своём сборнике поэт Владимир Решетников и коллегам по цеху. Замечательная идея, благородная цель. Он повторил слова поэта Николая Зиновьева и подтвердит постулатом: «Люди — братья...».

Жаль, не оказалось в сборнике 2020 года стихотворения, которое, я была почти уверена, должно было там быть.

Да, 2020 год — год 75-летия Великой По-беды. Но 2020 год — и год испытаний. Пред-ставьте, ещё в апреле 2008 года поэт Вла-димир Решетников, живущий в русской глубинке, среди простого народа, сам — часть этого народа, написал пророческое стихот-ворение «2020». Не читали? Откройте сбор-ники «Русы», «Вязь». Вы будете удивлены.

«У берега вода чиста и холодна...»

Красота и смысл в стихах Владимира Шемшученко

Туда, где пахнет яблоком и хлебом,
Туда, где Бог людей своих хранит,
Под русским не кончающимся небом,
Где всё и вся — по-русски говорит.

Владимир Шемшученко

Совместить гражданскую тематику с пейзаж-ными и собственно лирическими стихотворе-ниями удается далеко не всякому автору. Подо-бное свойство таланта присуще, как правило, только большим поэтам. Во всех остальных слу-чаях одни творческие приоритеты, теряя выра-зительность и единственность художественного высказывания, уступают другим — и перед чита-телем предстает по преимуществу либо трибун, либо певец затеанных переживаний.

Стихи Владимира Шемшученко почти всег-да остро социальные, их отличает жесткость национальных и родовых акцентов, духовная определенность. Эти приметы воплощены в ин-тонации, в слове, в логике развития сюжета и его контрастах. С полным правом их можно отнести к «поэзии мысли». Однако образность и способность поэта совмещать далекое с близ-ким и мгновенное с вечным выходят за границы подобного лирического ареала и рождают вещи поистине нежные и тонкие.

Новая книга стихотворений Шемшученко «Мысль превращается в слова» знакомит нас с автором во многом универсальным, а назва-ние сборника словно бы говорит, что слова, написанные мыслью, притягательны и широки, глубоки и подчас самодостаточны, поскольку в них живет красота, которая выше всякого раци-онального суждения. И в заглавном тезисе книги самым важным оказывается превращение.

Шемшученко здесь предстает фигурой не-ожиданной в каждой последующей строке. Он может проявиться тихо и доверительно, в жанровом отношении — занимательно. И вдруг возникает сюжетный поворот — или, точнее сказать, сюжетный перелом, — и образ авто-ра становится предельно отчетливым, а речь его обретает твердость и непрерываемую интона-цию. В новом сборнике он кажется более ли-ричным по сравнению со своим литературным обликом прежних лет. Большой цикл стихот-ворений «Марине» является в этом смысле центром книги, в которой, разумеется, есть и другие тематические позиции. Однако такое единство любви и призвания, экзистенциаль-ной тоски и социальной рефлексии, природ-ных картин и жанра делают эту вещь своего рода «художественным позновочником» всего корпуса представленных вниманию читателя поэтических повествований.

Чиркну слепишь — и станет светло,
И в оконном стекле отражение
Перебралось любое движение
И рука превратится в крыло...

Вспомни, как не плясал под чужую дуду,
Как старался в дуэгу не согнуться...
Не гони меня — я без тебя пропаду,
И стихи по земле разбредутся.

Я вижу рождение зла и добра
В лучах отражённого света.
Я знаю, как чёрная смотрит дыра
Из табельного пистолета.

Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах...
Я тебя знаю: свет осеннего дня
Или, лучше, — предзвездье на заячьих лапах.

У Шемшученко в построении сюжета очень большую роль играет созерцание. Причем ав-тор, глядя в пейзаж или ситуацию, не остаётся вдалеке от событий, но как-то неудо-ливо к ним приближается, будто скользит и тем самым преодолевая дистанцию. В этом есть элемент кинематографа, хотя чувство меры позволяют поэту погасить движение и остано-виться вовремя, не превращая дальше в фан-тазмагорию деталей, что так примечательно в текстах модернистских авторов. Он помнит, что «Россия — это тишина», а русское созерцание приближает человека к самой материи бытия, преображая быт, который на деле — только ма-

лое, самое начальное средство, необходимое для прозрения.

Человеческая память живет в природе, в ее нерукотворных составных частях — реке, поле, лесе, которые однажды могут воспалиться и восстановить эпизоды прошлого: в печали — и радости, в беспощадном ужасе — и щедрости из-мученного сердца. Вот почему так много биогра-фических отсылок в стихах поэта к истории рода и дружбе с корневыми, прошедшими жестокие испытания людьми, порой со страшной судьбой, но с не засохшим сердцем.

...Ты слышишь, как растет трава
Из глаз единственного брата...

Он был болен и знал, что умрёт.
Положи мою книгу на полку.
Вдруг сказал: «Так нельзя про народ.
В писанине такой мало толку».
Я ему возражал, говорил,
Что традиции ставят препоны,
Что Мефодий забыл и Кирилл,
Что нет места в стихах для иконы.
«Замолчи!» — оборвал он. — Шпана!
Что ты мыслишь! Поэзия — это...».
И зашалялся. И тишина...
И оставил меня без ответа.

Русское начало у Шемшученко никогда не пряталось и не отрезало от самого себя, он — человек наследства. Красный и белый цвет в его строках постоянно спорят друг с другом, будто имперская Россия и ее советское воплощение. Ни один цвет не берет верх постоянно. Эти кра-сики, каждая по-своему, дороги автору и вошли в его плоть и кровь. Между тем, он с болью по-нимает, что сегодня русский человек на родной земле стал фигурой неприкаянной. Исподволь, более изображая, а не называя вещи должными именами, поэт предлагает читателю мизансце-ны, в которых азиатский уклад теснит незначи-тельный, славянский: «Все назоливей запахи кухни восточной, / Но не многие знают — так пахнет беда». У него чрезвычайно обострено взгляды-вание и вслушивание в реальность. Он чувствует: что-то происходит, и обозначает — что. Осязает всей кожей: какие-то события готовятся и вот-вот свершатся, и обозначает — почему.

Проснуь среди ночи,
как в детстве, луну отыщешь
В замёрзшем окошке,
и свет снизойдёт к изголовою...

У Господа я всепрощенья себе не прошу,
Я только молю,

чтобы сердце наполнил любовью.
Когда надо мной в одиночестве нависнет вина
За то, что себя возомнил

и судьей, и пророком,
Я чашу раскаянья радостно выпью до дна,
Чтоб сын, повзрослев,

из неё не отпил ненароком.

Многие приметы настоящего и прошлого Шемшученко показывает вскользь на фоне размеренной интонации лирического расска-за. Сочетание мелькнувшей жизненной грани, острой и ранящей, со спокойной сюжетной основой оказывается на редкость пронзитель-ным. Точно так же построены и подготовлены почти все финальные строки самых важных стихотворений поэта. Примечательно, что, ко-гда он пишет о природе или о любви, о быте или творческом призвании, у него совершенно непредсказуемо, но очень естественно в стро-ке возникает человек русской идеи, русского уклада и русского характера («Как все просто, по-русски, без глупых прикрас»; «...от безбож-ных отцов не рождаются русские дети»; «Я — смиреннейший подмастерье, / даник русского языка»; «Мы ляжем в нашу землю здесь, мы не уйдём, мы коренные, / И рюмку водки с коркой хлеба оставим на краю стола»).

В художественном созерцании поэта есть одна важная особенность. Соприкасаясь с большими вещами, он не умаляет собственную мысль, не принимает свою зримую малость в виду огромных окружающих предметов. Он — их часть, которая столь же велика. Это слияние человеческого космоса — с космосом веществен-ным, слияние на равных началах. Потому что видимый человек есть только тень человека

подлинного («Между не-бом и мной — неразрыв-ная нить»; «...тучи ты-чутся в колени / И тают от тепла руки»; «...зано-во научишься дышать / И чувствовать губами при-вкус звука»).

Не в последнюю оче-редь в таком мироощу-щении сказывается про-исхождение автора. Он может посетовать на «западный» Петербург, который ему куда ближе срединной и пестрой Москвы («Все никак не привыкну к лесам и болотам, / Не хватает про-стора глазам степняка»), однако все его стихи о городе теряются на фоне более общих сюжетов. Кажется, что в них нет сверхзадачи, лирического откровения. И в том — совсем не изъян поэта Владимира Шемшученко, тут видны бытийные провалы города как такового. Наверное, мы вплотную подошли к черте, отделяющей орга-ническую жизнь от искусственной, волноное и ра-достное присутствие в мире — от вымороженного и безысходного. Близость подобной веки в той или иной степени сказывается на всем строе со-временного ума и душевного обыкновения — в России это кажется несомненным...

У берега вода чиста и холодна.
Прозрачные леса отчаянно красивы.
Плещи-ка мне, дружок, карельского вина,
За теплым костером — ну, хоть у этой ивы.

Она среди камней стоит, едва дыша —
Объятия ветров настольчивы и арбуи...
Мы наберём с тобой сухого камыша,
И для неё сошьём из дыма лилию шубу.
Как дышит лещо! Как звёзды высоко!
И воздух не горит, а первым пахнет снегом...
Я подниму с земли листочки-лепестки
И глубоко вдохну, и выдохну: О-н-е-г-а...

Говоря о превращении замысла в слово, не-обходимо обозначить творческие черты поэта, который собственно и осуществляет это, без преувеличения, волшебство. Фигура его проти-воречива, своенравная натура позволяет ему без церемоний, «прямо в губы» целовать слова. Хотя такой облик во многом напускной: автор вслушивается в звучание речи и искусно органи-зует ее, оживотворяя художественными образа-ми — и уходя от первоначальной сухости трево-жащего сердце и душу замысла («Подснежник сжукоился в банке, / Как ставшая былью меч-та»). Поэт рисует нравы литературной среды в духе традиций Блока и Есенина, одновременно насыщая сюжет отсылками социальных явле-ний, драматизмом судьбы художника.

Позарасстала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушёл, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.
У Шемшученко есть очень мудрое стихот-ворение, скромно определенное автором как «дидактика». Поэтическое вдохновение, по его словам, стоит соединять с реальным миром, яркими чувствами, с любовью к Родине, с не-подвластной разуму песней. Поэзия — вся здесь, рядом с нами и внутри нас, на грани видимого и невидимого. И в этом ее загадка и великая сила.

Не заглядывай в бездну, поэт,
Жизнь земная всего лишь мигунка.
Расскажи, как цветёт незабудка,
Под небесью вобравшая цвет.

...
Расскажи, как туманный рассвет
Режет крыльями дикая утка...
Не заглядывай в бездну, поэт —
Своеволье не стоить рассудка.

У Владимира Шемшученко очевидна драго-ценная для нынешнего времени особенность таланта: он способен видеть предмет и картину как нечто целостное. Острота художественного зрения позволяет ему вглядываться в детали, не расчленяя действительность на мертвые составные части, что с энтузиазмом душевно-больного делает сочинитель-постмодернист. Красота и смысл — не инструменты познания от-чужденного мира, а часть человека и царства, в которое он был некогда призван Создателем. Хочется верить — не по ошибке.

Дмитрий ЕРМАКОВ

Очарованный жизнью

О сборнике рассказов и повестей Василия Киякова

ма от него и с фронта и из Америки... И последнее письмо мужа уже из больницы... И ведь ей даже не важно, почему, как он оказался в Америке (наверное, после немецкого плена). Когда герой уходил, старуха заставила его надеть тёплые сухие носки, передала поклон его бабке — подруге ещё с молодости...

Приведу большую, но необходи-мую для понимания жизненной и творческой позиции Василия Кияко-ва цитату: «Я ехал уже затеменно и всё думал о бабке Марфе, о себе. Думал об этих полях непаханных с колками берёз... Что в них, в этих берёзах? Отчего так живуча в сердце эта тоска по родине, да такая, что на чужбине человек заболевает ностальгией и даже гибнет. Страдает, не видя эти горизонты. Есть какая-то особенная торжественная грусть в этой сере-динной Руси, тоска обречённого, вле-комого промыслом русского по свое-му гологофскому пути <...>. И песни такие же: долгие, грустные, чаще — острожные. И пытался я вспомнить весёлые песни — никак не мог <...>. Русский народ, едва ли не весь и едва ли не каждый из нас, — идёт, неся свой крест.

Бабушке своей я передал привет от Марфы.

— <...> И носки подарил? Ну и я в долгу у неё не останусь, я ей отомщу... Это её «отомщу», против обычного понимания, вызвало у меня не смех, а печаль, едва не со слезой. Такой-то жалостью пролилось в сердце к земле нашей бесприютной, ко всем людям, жившим до нас и живущим с нами. И долго ещё глядел я с крыльца на поля, на косогор, на горизонт в до-жде... На эту скудную и дорогую серд-цу русскую гологофу...».

Вот эта печать, жалость, сопере-живание и проживание «русской го-логофы» и есть суть творчества Василия Киякова. И эта жалость (любовь) от-зывается в сердце читателя.



Вячеслав ЛЮТЫЙ

И вот в моих руках этот со-лидный, в пятьсот с лишним страниц, том — сборник рассказов и повестей «Посылка из Америки» (из-дательство «У Никитских ворот»). Отличное издание, которому можно только позавидовать или порадоваться. Радуюсь! И за автора — Василия Киякова, и за читателей...

Хотел говорить только о книге, но не получаю...

Мы уже давно заочно знакомы с Василием. Обратил внимание на него посоветовал мне литературный критик Вячеслав Лютый, а рекомен-дация Лютого для меня значима. Я связался с Василием, и вскоре в скромной газете «Литературный маяк» появилась подборка его днев-никовых записей (что прислал, то я с удовольствием и опубликовал). По-том ещё были публикации... Такие за-писи — жанр особый, интересный, по ним (этим записям) сразу было вид-но, что Василий Кияков умеет и дать моментальную и точную бытовую за-рисовку, и поставить философский вопрос, и попытаться решить его, да просто — высказать мысль. И, надо сказать, мысли его — близки мне. Вот, например: «Бесконечно большая все-ленная и ничтожно малая соринка на земле — всё касается друг друга, всё проникает друг в друга, и соприкосо-новение это происходит только в одном: в способности человека к молитве и созерцанию. А это — молитва и созер-цание — подлинно тяжёлый труд...».

(Созерцание — труд, это я понимаю и принимаю...)

И всё это он пишет замечательным русским языком. Но дневниковые за-писи — это, всё-таки, взгляд автора на мир с определённой, авторской, точки зрения, ограниченной рамками жан-ра — страницами дневника. художе-ственная же проза — это весь мир, уви-денный и глазами писателя, и глазами его героев.

И вот, наконец, я прочитал и расска-зы, и повести, и эссе, и очерки, и даже интервью Василия Киякова — всему нашлось место в этой книге, видимо, подводящий итог на определённом этапе. Кое-что нашёл и в вездесущем интернете.

Читаю интервью Василия Василье-вича, и вижу откуда что берётся: от

человека с богатой и трудной судьбой (и при этом замечательного устного рассказчика) — дёда, от деревенского детства, от школы в провинциальном городе, от хорошего учителя литерату-ры, от книг... От России, от судьбы её, которая становится и судьбой каждого русского, не каждый только это чув-ствует и понимает. Кияков чувствует, оттого он и пишет...

И теперь уже к книге... Василий Кияков — неторопливый, внимательный и талантливый пове-ствователь. Просто рассказывает про-стые истории жизни: «жили-были», «а потом», «а затем»... И проплывает перед внутренним взором читателя чья-то жизнь.

Если в дневниковых записях (по стилю, по мысли, по мировоззрению), как мне показалось, Василий Кия-ков близок к нашему современнику Владимиру Крупину, то в его расска-зах и повестях увиделся мне гораздо более отдалённый творческий пред-шественник — Николай Лесков. Та же неторопливость, тщательность выде-лки, череда характеров, лиц, ситуаций («Очарованный старинник», «Левша», «Тупейный художник», «Запечатлен-ный ангел» и т.д.).

Лесков при всей сложности сво-ей жизни, судьбы, творчества — был именно очарован сложностью и кра-сотой Божьего мира и — прежде все-го — человека как высшего творения в этом мире...

И интонация Василия Киякова — это именно интонация очарованного жизнью странника, познающего мир и рассказывающего об этом таким же, как он, неторопливым слушателям-читателям.

Конечно, нельзя сводить всё твор-чество Василия Киякова к «похо-жести» на Лескова или, тем более, следованию по его пути. У Василия Киякова путь свой, взгляд свой, да ведь и время своё — «наше».

Вот, например, рассказ «Капитал». Это же «Очарованный странник на-оборот». Очаровал Фому Кукина не мир Божий, а капитал, деньги. До того очаровал, что и муки он за этот капи-тал терпит, и на смерть готов (и свою, и чужую)... Рассказ страшный по своей беспощадности — гибнет Фома от ко-пыта лошади, хотя всю жизнь был ло-



шадником, и остаётся от него на свете сын — Пашка-Полчеловека (он-то на самом деле и виноват в гибели отца).

Только и надежда, что молитва, ко-торую, единственную, помнит от пра-бабки другой герой этого рассказа... Но ведь это надежда, которая не умирает даже последней...

Такие рассказы, как «Неугомон-ный», «Товарищи» — это рассказы о столкновении живого, ещё по-детски наивного деревенского мира с миром города, железа, душевного холода...

В «Стенге и Варьке» рассказ пере-плетается с легендой, сказкой. И это уже не книжная традиция, это тради-ция устного рассказа.

Раньше мужики, ходившие из дере-вни в отход (на работу в город) или, позже, на лесозаготовки, специаль-но брали с собой чело-века, обычно стари-ка, который вечерами рассказывал сказки, легенды, истории из жизни, что-то на ходу придумывал, приба-утку подпускал... Вот таким «сказочником» становится в некото-рых рассказах и Ва-силий Кияков (как и герой его рассказа «Балагур»).

И так страница за страницей проплыва-ют перед читающим лица, судьбы: ново-русские чиновни-ки и просто русские сидельцы, палачи и жертвы, мужики и бабы... Народ.

Задержусь ещё на заглавном рас-сказе — «Посылка из Америки». Герой едет дождливым осенним днём на мотоцикле в родную деревню, по пути останавливает-ся, чтобы согреться и обсохнуть в доме знакомой одинокой старухи. Она показы-вает семейные фото-графии на стене... «Я слушал и думал: как странно, что мы все, особенно в горо-дах, потеряли эту традицию — красный угол с образами, хоть маленький, но иконостас, где главенствует Спас. Под ним — Божья Мать... А что же было ря-дом с красным углом, вправо и влево по стене? Родители, умершие и почи-таемые «из рода в род», как сказано в литии по умершим... Нет сомнения, что мы молимся за нашу родню тут, а они «оттуда» благословляют нас...».

Старуха, тем временем, расска-зывает о необычной судьбе «своего Мити», от которого у неё три дочери и сын... Ушёл на фронт, а оказался в далёкой Америке, и даже присылал оттуда письма, а однажды и посылку с дешёвой ерундой. Но она хранит и присланный им настенный коврик, и ящик из-под посылки, а в ящике пись-